

1

Он кажется героем такой чистоты, что преступления буд-то бы не было.

Раскольников – сгусток больной совести, сострадания, желания помогать: неужели обладающий такими качествами человек возьмется за топор, воплощая выморочную идею?..

Этак всякий пойдет старушек лущить: человек и развился, когда перестал использовать физическое устранение неприятных ему других и стал пользоваться возможностями слова...

Впрочем, нет – убивали, убиваем и будем убивать – так устроены: не мешай, моя территория...

Но Раскольников убивает не из-за территории, едва ли процентщица так уж мешает ему: он ставит экзистенциальный эксперимент над собой, над внутренним своим составом: выдержит ли...

Не выдержал.

Ахматова говорила, что Достоевский не знал всей правды, полагая, что убьешь старушку – и будешь мучиться всю жизнь; он не предполагал, что утром можно расстрелять пятнадцать человек, а вечером выбрать жену за некрасивую прическу...

Может, предполагал?

Ведь нарисовал же бесов, пользуясь красками гротеска, вообще излюбленными им.

Не только ими: красками правды, предчувствия, постижения реальности и человека в ней...

Раскольников верует буквально: то есть не очень глубоко; Достоевский, используя формулу «...до тех пор, пока человек не переменится физически», предполагал, что такое возможно: значит, видел сквозь плотные слои материальности.

Как видел творящееся в недрах человеческих душ: а там закипает столько всего, что не захочешь, а напьешься...

И пьют у Достоевского, пьют многие; недаром черновое название «Преступления и наказания» – «Пьяненькие».

Пьяненькие, жалкие, вбитые в нищету...

Она хрипит старухой: скученность больших домов противоречит жизни, и опять Мармеладов развивает теорию бессмысленности просить в долг...

А-а... кто это выходит на сцену?

Крепкий, щекастый, разумеется, Фердыщенко, заставляющий усомниться в том, что воспоминания – ценность.

Ведь ежели хороши, их хочется повторить, когда худые – забыть, отказаться...

Из жизни не вычеркнешь ничего – как из черновика. Замечали?

Невозможность отступления увеличивает безнадежность.

Мышкин проявится, но не в его силах будет изменить мир, оставшийся и после Христа таким же, как был: с насилием государств, войнами, тотальным неравенством, смертью, болезнями...

Люди не говорят, как у Достоевского, тем не менее его людей хочется слушать.

Они сбивают речевые пласты наползающими друг на друга структурами, захлебываясь, спеша...

Все спешит, все несется, мелькает калейдоскоп разнообразнейших персонажей; Карамазовы – это будто один расчлененный человек, и Иван уравнивает мыслью сладострастие отца, который будет убит смердом, смердящим...

Нет людей хороших.

Нет плохих.

Снег падает на городские задворки; всякий человек и белоснежен внутри, и грязен, как неприглядные задворки эти; Достоевский, показывая человеческое разнообразие, призывал быть терпимее друг к другу, добрее, всегда проводя через мрачные коридоры к астральному свету: надо только почувствовать...

2

Сундук, на котором ребенком спал Достоевский, можно увидеть в музее, располагающемся рядом с больницей, во дворе которой стоит странный сильный памятник: писатель, словно разбуженный выстрелом... или выдирающийся из лент небытия к сияющему простору мистического космоса.

Не от утлости ли того пристанища, где пришлось спать ребенку, – банька с пауками, потусторонняя тоска Свидригайлова, который уедет в Америку на энергии выстрела?

Страшные колодцы петербургских дворов – в Москве таких нету; недаром Достоевский именовал Петербург самым умышленным городом на свете, когда Москва обладала естественностью прорастания в явь.

Москва пьяновата и пестровата.

Петербург холоден и строг.

Вам жалко Макара Девушкина?

Ведь он жалок...

А вы сами?

Жалкое – вместе растерянное, детское – есть в каждом.

И впрямь: мало живущий, ничего не знающий ни о Боге, ни о том свете человек таков, что его не может не быть жалко.

Но Достоевский провидел тайный свет, и постоянное стремление к оному важнее даже огромной языковой работы, проделанной классиком.

3

Смертное манит, запредельное влечет; Кириллов, строящий теории самоубийства, больше вызывает сострадание, чем...

Провинциальная дыра становится вместилищем кошмаров, принимая в себя бесов.

В революции, кроме крови и жертв, Достоевский не видел ничего и, ожидая кошмарных перспектив, не предполагал общечеловеческого прорыва к свету.

...который знал как мистическую основу бытия; свет, определяющий жизнь, влекущий, манящий...

4

Суть Достоевского – свет: дорога к оному, прохождение сквозь лабиринты ради обретения световой гармонии.

Бытует мнение о хаотичности языка классика: это так и нет.

Действительно, Достоевский с неистовостью – точно текст летит над земными препонами – сбивает пласты разных речений: канцеляризмы, жаргон, тут захлест всего, мешанина, но именно такой язык и нужен для построения лабиринта, ведущего к световым просторам, столь редко встречающимся в жизни.

Если бы было иначе, не вышло бы эффекта и речь на могиле Илюшеньки не прозвучала бы такой чистотой и болью.

Раскольников кажется чистым настолько, что убийство невозможно: будто это развернулись фантазии его.

Но нет – дребезжат детали, громоздится мерзкий быт, выглядывает из щели двери отвратная старушонка.

Мерзкого много, провинциального много, церковных долдонов много.

Страха, страсти.

Мышкину не найдется места – как не сложится условий для второго пришествия, как невозможно представить условия посмертного бытования.

Достоевский кажется всеобщим братом и всем другом.

И мерцает слезинка ребенка – вечным предупреждением.

5

Слезинка ребенка мерцает предупреждением, не услышанным миром.

Неувиденным.

В своей огромности и вечном захлесте страстей мир сносит подобные мелочи – которые так велики сущностью.

В недрах себя каждый согласится с Достоевским, но внешнее организовывается сложно – боль и насилие продолжают созидать мир.

Книги не меняют его.

Но и без книг совсем захлебнулся в несправедливости и прагматизме.

6

Шаржированный Тургенев, представленный Кармазиновым, другим – с точки зрения Достоевского – быть не мог: тут противопоставление двух противоположных форм творчества: бурление, поток, истовость Достоевского и ориентация на конкретный шедевр у Тургенева.

Слишком разные: и уважительное друг к другу отношение в жизни будто бы ничего не значило.

Бесы клубятся в провинциальной дыре: надо же откуда-то начинать.

К ним не относится Кириллов, как-то криво втянутый (или почти) в их компанию.

Теоретик самоубийства, так глубоко погруженный в себя, что действительность вторична.

Сумрачный колорит не мог быть другим – вот появляется Шигалев, глядящий мрачно, рисующий панорамы грядущего мира – даже не тиранического, а дьявольски искаженного...

Революционеры спародированы?

Нет, методы их слишком претили Достоевскому, не верившему в подобные возможности переустройства общества, думавшему, что слезинка ребенка...

А мир может меняться только через кровь, как ни ужасно это: назовите хоть одно человеческое значительное свершение, обошедшееся без оной...

Мир, меняющийся через кровь, не устраивает классика, заваривающего крутую провинциальную драму.

Пока провинциальную: она выплеснется в глобальный масштаб, исказив всю действительность, меняя ее, поднимая одних, низвергая других, ломая души, и...

Все смешивается в алхимическом огромном сосуде классика, где впервые появляются очевидно плохие, почти без оттенков: Верховенский и прочие...

7

Зеркало должно быть огромно, чтобы отразить душу народа; оно будет неровно и выпукло тою болью, что живет в ней, и сиять, как сияет свет затаенной надежды.

Суммарный свод книг Достоевского, отшлифованный временем, превращается именно в такое сверкающее зеркало.

Ибо кристалл души Раскольников чист, как у ребенка; ибо фантом его зловещей фантазии, выданной за интеллектуальное построение, точно проносится мимо, хотя убийство было, этого невозможно отрицать, но накал муки – продающая сущность героя совесть – так высок, а страдания в заключении столь серьезны, что и содеянное растворяется в них.

Ибо нового Христа не ждет реальность, о чем знает прекрасно русифицированный великий инквизитор, но Мыш-

кин, возвращающийся из Швейцарии, все же хочет проверить возможность родной земли принять новое проявление пророка.

Ибо Карамазовы точно... не амбивалентность даже, а «расчетверенность» души русской, где Алёша – световой полюс, Иван – интеллектуальный вектор, причудливо изгибающийся, раз не выдерживает умственного напряжения, Митя – ярость страсти и лютый порыв щедрого сердца, а Фёдор – тьма земного пути; сложный суммарный портрет русского бытия ложится отражением в пласт гигантского зеркала, нечто проясняя, еще больше запутывая многое...

Ибо бесы всегда, или часто, рядятся в одежды всеобщего благополучия, ни в грош не ставя чужую кровь, не желая проливать свою.

Но даже и Макар Деушкин – жалкий, крошечный, смешной человек – есть писк униженного русского естества, тщетный звук мечты о корочке счастья.

Ибо Сонечка Мармеладова найдет ядовитую сладость в попании собственного «я» ради жизни близких; а сотворить чудо ради них может каждый.

И все загнутые сложно, с заплесневелыми стенами лабиринты, письма правды проступают на коих сквозь мутные потеки времени, выводят к свету – в этом суть.

Речь на могиле Илюшеньки прожигает сгустками душевных, высших лучей смертный, свинцовый морок яви.

Мышкин оставляет след в живущих – и светится он, призывая к правде.

Даже Фердыщенко, предложивший салонную пустую игру, подразумевал звенящие струны совести.

Как несовременно все!

Как противоречит технологической, прагматизмом скрученной, целесообразностью напитанной яви!

И как мощно, верно работает зеркало, отражая прошлое, созидавая грядущее.

Двойник, Петербург, темные лестницы, богатые квартиры, где гудят праздники, требующие великолепного масла великого художника; Белинский, оставшийся недовольным повестью...

Естественно – ее абсурдные изломы, равно как и снежные ночи, где один персонаж встречается другого – себя самого, были далеки от того разлива реализма, который критик ожидал от молодого тогда писателя.

Титулярный советник!

Сколько их проявилось на русских страницах!

Мелкие и смешные, неудачливые и затерянные в толпе, чудаковатые и несчастные, они представляли собой пестрые калейдоскопы тогдашних людей; и Яков Петрович не являлся исключением.

Вот он бестолково топчется целый день по делам, сидит у доктора, то отказывается принимать лечение, то соглашается на лекарства, потом бессмысленно перемещается по городу – этому умышленному городу с его архитектурными ущельями...

Впрочем, почему бессмысленно? Смысл в том, чтобы встретить себя самого – Якова Петровича Голядкина, свою худшую часть, которая постепенно возобладает.

Однако и хорошая-то не очень хороша: тут даже не маленький человек, а козявка какая-то...

Очень реальная козявка, не отступающая от реалистических правил изображения действительности.

Все серо-черное, мчащееся куда-то; вяло бормочущий двойник, постепенно забирающий жизнь основного персонажа...

В каждом из нас живет такой – и тут уж ничего не попишешь.

Однако зафиксированного словесно не отменишь, и бегут Яковы Петровичи Голядкины, соревнуясь, бегут, опережая друг друга, не зная, кто победит.

Щекаст, но едва ли розовощек – он выходит на сцену, хотя стоит сбоку, теребя края малинового занавеса...

Он совсем не оптимистичен и заранее просит денег в долг ему не давать; да и фамилия его – Фердыщенко – топорщится нелепо.

Он введен как функция, хотя и выглядит как человек: его миссия – разбередить в вас худое, заставить его показаться, проявиться на свету, дабы стыд прожег кислотой сознание...

Что такое покаяние?

О! это вовсе не разбивание лба об церковный пол с последующим повторением всех жизненных гадостей, на какие только вы способны.

Покаяние – это осмысление плохого, с тем чтобы не повторялось оно, отпустило из плена.

И вот тут необходим метафизический Фердыщенко, который обязательно выйдет на сцену, ежели у вас совсем не атрофирована совесть.

Да, разумеется, можно вспомнить многочисленные истории маугли – не того романтизированного Кипплингом мальчика, но подлинных – сотню или две, – росших среди зверей и не имевших представления о совести; но ведь заложена она в нас, впечатана во внутренний состав, только толчки нужны, чтобы проснулась...

Если становится меньше и меньше таких воспитательных толчков, люди деформируются, расчеловечиваясь.

Что и наблюдаем сегодня.

Так что не хватает Фердыщенко, и помощнее чтобы был, настойчивей требовал исцеляющих воспоминаний...

Страшно быть смешным, саднящее постоянное нечто разъедает душу, и сам себя таким считаешь: смешным, нелепым...

Сколько таковых вписано в жизнь: ратоборствовать с реальностью сил не дали, и доказывать ей, что ты не таковой, – не получится...

Узел закрутится туго, как на любой странице Достоевского: смертельно затосковавший смешной человек, окончательно решивший убить себя, отогнал криком девочку, подбежавшую к нему на улице с бедою своею, аж текшей из глаз; и, придя домой к себе, в пятый этаж, сильно заела совесть смешного...

Мол, тут уже не смешной выходит, а подлый.

Подлый-подлый, весь коричневый внутри, бурый, а бурый – цвет греха.

Выстрел отдалился, настал сон, появилась совсем другая жизнь.

Вот и сознание после смерти, оказывается, живет: несется себе среди пространств, пока не начинает гореть солнце и не открывается солнечный мир: почти как наш, только лишенный всего земного негатива; о! сколько его ныне – в геометрической прогрессии вырос, вот бы поразился смешной-то...

И вот затесавшийся в другую жизнь – без права на это – смешной человек сеет среди идеального свое – негожее, и сеет... как-то сам не желая того: просто ведь не таков, как они, не знающие зла...

А просыпается с изменившимся лицом и с четким осознанием, что лучше сеять любовь среди несовершенного мира, чем наоборот...

Суть тут – в изменившемся лице, в осознании, которое делает лицо таковым; а еще, верно, в том, что надо побыть подлинно смешным – для других, – чтобы дорасти до откровения любви.

Аркадий Макарович Долгорукий – о себе, о событиях, вовлекших его метафизическим – через земные данности – водоворотом, о своей заветной идее...

Она бесхитростна, с одной стороны: стать Ротшильдом; она громоздка и избыточна: утвердиться среди людей, считающих его подростком.

Таков ли он?

Записки наслаиваются, вихрятся, летят; скорость происходящих событий увеличивается, Версиков снова что-то говорит; и снова все – все! – воспринимают Аркадия подростком, каким ему так не хочется быть.

Взросление трудно – во все времена.

Вхождение в жизнь – с необходимостью притираться к ней, принаравливаясь ко всем ее каверзам и шероховатостях – мучительно...

Разнообразие мук велико, и шкала их никем не рассчитана.

Незаконнорожденный, и при знакомстве, когда узнают фамилию, произвольно интересуются: не князь ли?

Много унижений претерпевший в пансионе Тушара обдумывает жизнь и, вместе с классиком, вопрос: растут ли после 19 лет?

Растут до конца дней своих и потом – о чем ведал Достоевский.

Жизнь – форма бесконечного роста; хотя земная кажется просто движением к смерти с напластованием массы нежного на пути.

Всепримирение идей и всемирное гражданство Версикова есть одна из коренных русских болей, а всевозможного российского «боления» в «Подростке», как и в других махинах Достоевского, много, с избытком.

В России был и Николай Фёдоров со своими так толком никем и не понятыми идеями.

Мелькают коридоры, которыми проходит Аркадий, они усложняются, повороты закручиваются, записки растут...

И мерцают, разворачиваясь, поля метафизики: над романом, внутри него, мерцают, втягивая в себя, – даже ежели и не хочешь.

12

Игра прожигала Достоевского, организуя периоды его жизни, готовя почву будущих книг; игра звенела медными дисками в его сознание, взрывалась, уводила реальность из-под ног.

Игра лентами вливалась в роман, и Алексей Иванович повторял зигзаги своего автора, будучи союзным с ним во страсти.

Игра игрока.

Философия ощущений.

Ощущения, обнаженные до кровотокового предела, до тока, сильно бьющего с проводов действительности.

Игра как объект исследования.

Достоевский тяжело изживал свои страсти.

13

На телеге едет в Оптину, готовый созидать словесную гроздь такой силы, что перед ней померкнут предыдущие...

Прощается с жизнью, распределив пять минут, и как много кажется это, как много...

А вот Достоевский, везомый в ссылку: в дичь и боль отношений, в холод, в непроходящую боль...

Игра, калящая неистово: ночью врывающийся к жене игрок похищает тальму ее, чтобы вновь проиграть...

Неистовство!

Язык, закручиваемый турбулентно, мчащийся лентами самых различных речений: мастеровщины, чиновничества; густейшая плазма людей, собираемая на пяточке

каждого пространства; нищие, тараканьей жизнью набитые дома...

И сострадание ко всем; неистовая бездна сострадания, рубиновые его стигматы, горящие на душе.

Не пройдут.

С «Бедных людей» началось униженное, жалкое, мелкое...

Маленький человек Достоевского меньше мелкого: и любит, любит его писатель, высказавшийся за всех униженных и оскорбленных.

Едет в Россию русский вариант Христа, возвращается из тихо-комфортной Швейцарии, едет, покуда в сознание одного из черным мазанных зреет Легенда.

Легенда, согласно которой Христос не нужен: и без него все слажено в мире, все соты подогнаны, все руководство распределено.

Очень актуально.

Никогда не стареет.

И зреют в дрянной щели городишки, гаже которого не придумать, планы по изменению мира – столь же глобальные, сколь и жестокие, зреют, наливаются соком бесы, уговорят мечтательного, тихого Кириллова покончить с собой – с целью.

Мол, ради дела...

Раскаленная плазма достоевских текстов выливается в души – чтобы выжигать все темное, зверовидное, чтобы оставался свет, ибо Достоевский всегда выводит к свету...

14

Она писала об отце, кропотливо восстанавливая его образ; она писала о специфике бытования писателя в общей среде, которую он, преобразуя словесной мощью, должен словно перевоссоздавать – на века, для грядущих людей.

«Великий писатель еле соприкасается с землей, он проводит жизнь в фантастическом мире своих образов. Он ест

механически, не замечая, из чего состоит обед; он удивляется, что наступила ночь, и ему кажется, что день только что начался».

Так повествовала Любовь Достоевская об отце – и словно отдернутая дочерью портьера открывала вход в лабораторию, умноженную на сад, – сиятельное место обитания классика, который... еще не был классиком.

«Никто не мог тогда предвидеть, какое выдающееся положение займет Достоевский позже не только в России, но и во всем мире. Он сам не предугадывал этого. Его начали уже переводить на иностранные языки, но отец не придавал значения этим переводам».

Слава, вызревавшая медленно в мировую, туго налитую гроздь...

(Впрочем, нынешний избыточно технологический мир заставляет усомниться, что, если спросить многих на улицах Филадельфии или Дублина, получишь вразумительный ответ на вопрос: кто же такой Достоевский?)

Тем не менее роль, которую сыграл классик в жизни различных социумов, сложно переоценить, и Л. Достоевская, фиксируя многое, метафизически просвечивая разные линии жизни писателя, иногда позволяя себе спорные утверждения, предоставила будущему значительный материал для постижения образа одного из величайших писателей мира.

15

Вместе с братом интересовался учением французских социалистов, увлекался фурьеризмом, мечтая о переустройстве общества, видя, насколько оно пропитано несправедливостью – почти кровотокающей субстанцией...

Михаил Достоевский был творчески зависим от брата: несколько его повестей – «Дочка», «Господин Светёлкин», «Два старичка» и др. – сильно просвечены «Бедными людьми», правда – с большим уклоном в сентиментализм.

Он был одаренным редактором, он болел этим делом, и Страхов писал, что умер М. М. Достоевский прямо от редакторства...

Он был талантлив, и упоминание о нем в истории русской культуры осталось бы и без колоссальной фигуры Фёдора, тень которого точно укрупняет всех людей, попавших в нее.

Так и Андрей Михайлович – замечательный мастер, ярославский губернский архитектор, спроектировавший и построивший много зданий, – оставил специфические воспоминания – поквартирные.

Так он решил составить записки обо всей своей жизни, сообразуясь со сменами квартир, словно избрав специфические призмы, сквозь которые рассматривал пройденную им реальность.

Неоднократно прерывал он записки, а после смерти гениального брата предоставил те их части, что относились к детству, первому биографу Фёдора Михайловича – Оресту Миллеру.

Но мемуары потом были закончены и суммарно дают интересную панораму тогдашней жизни, добавляя вместе с тем штрихи к портрету классика...